

Давид Маркин

БЕЛАЯ ЖАРА

Что правда, то правда: велик и прекрасен русский язык.

Возьмём, к примеру, всеизвестное библейское «не убий», с течением времени потускневшее, покрывшееся пылью и превратившееся в антикварную драгоценность, наподобие геммы или камеи. Вычленив из этого святого призыва второе словечко, рассмотрим в него попристальней – и уловим целую гамму переливающихся всеми цветами и оттенками радуги синонимов: ликвидировать, зашибить, грохнуть, укокошить, долбануть, уделать, запороть, задушить, задавить, зарезать, пришить, сразить, уложить... Согласитесь, эт-то крут-то! Такого, пожалуй, ни в какой другой речи не услышишь.

Тараса Фишзона, думца, именно грохнули. И это значит, что киллер посадил его на мушку, потянул спусковой крючок и убил вовсе не из мести, не из ревности и не спьяну. Стрелку вообще не было никакого дела до жизни Фишзона, а только до его смерти: надо хорошо попасть, чтоб умер на месте или, на худой конец, по дороге в больницу. Так и вышло: одна пуля вошла в печень, другая – в голову. Такой разброс объяснялся поспешностью: убийце надо было срочно линять, потому что площадка перед подъездом дома, куда направлялся Фишзон, была освещена фонарём, да и сам думец был не один, а с помощником.

Помощника звали Лёва Гурарий. Есть вопросы? Нет вопросов. Вот об этом Лёве, а не о думце Фишзоне или безымянном киллере, унесшем таки ноги от того подъезда, и пойдёт речь.

Похороны удались на славу, Лёва Гурарий немало тому поспособствовал. Надо сказать, что хлопотал он и трудился от чистого сердца: что возьмёшь с покойника?! Скорбь и душевная горечь Лёвы Гурария была чуть подслащена тем существенным обстоятельством, что пули меткого киллера пролетели мимо, его не задев. Таким образом, он испытывал к стрелку, пусть даже скрытно и потаённо, своего рода благодарность: Тараса убил, а его, Лёву, не убил. И это чувство благодарности, вопреки чугунным жизненным устоям, теснило все страшные чувства, связанные с убийством человека, совершённым на твоих глазах: только что Тарас был жив и здоров и вот – лежит вниз лицом, и из его продырявленной головы расплзается кровь по асфальту.

Покойный думец принял на работу Лёву Гурария не с бухты-баракты: неделю целую он взвешивал и прикидывал. Мнения его приятелей и советчиков разделились: одни указывали, что для сохранения политического равновесия помощником Фишзона должен обязательно стать безукоризненный русак как представитель титульной нации, а другие доказывали, что и еврей тоже очень даже подойдёт и окажется на своём месте, наглядно демонстрируя торжество демократии и свободомыслия в новой России.

Мотивы, побудившие невыявленных злодеев грохнуть Тараса Фишзона, были не то чтобы ясны Лёве Гурарию, но проступали-таки в поле его зрения в мерзком жёлтом тумане – размыто, но узнаваемо. Своими догадками Лёва не делился ни с кем, справедливо полагая, что вот это уже совсем ни к чему: пусть лучше общественность думает, что пули были выпущены коммерческими конкурентами. Да, конкуренты тоже существовали в природе – Тарас жил не на думскую зарплату, это же и коню ясно и ни у кого не вызывает сомнений, прежде всего у самих думцев. Левые доходы Тараса Фишзона были значительны, но у кого бы повернулся язык назвать эти доходы нетрудовыми? Тарас трудился усердно и не покладая рук, золотые копеечки не с небес на него сыпались, как манна на головы наших свободолюбивых сведков в Синайской пустыне. Лёва Гурарий многое знал о трудах своего шефа, но знал не всё. Да ему и не надо было: меньше знаешь – лучше спишь. Пусть теперь следствие занимается доходами и расходами покойного думца, пусть дознаватели блуждают в чаще, где и слон ногу сломит. Почему Тарас ездил на «бентли», а не на «Самаре» – ответ на этот вопрос был так же прост, как и неразрешим: почему рыба живёт в воде, а человек на берегу? Поди знай...

Кому не надо, знать об этом ничего не знал, а кому надо, мог только догадываться. Но то, чем Лёва не планировал делиться со следователями и растерявшими последнюю совесть журналистами – не имело никакого отношения ни к «бентли», ни к звенигородскому особнячку с боярским крыльцом. Предмет умолчания, хотя и опосредованно, имел касательство к Господу Богу, и это обстоятельство Лёву Гурария настораживало. И пугало.

Отношения Лёвы с Богом складывались непросто. Родители его были людьми неверующими, глубоко безразличными к духовным вопросам и запросам. Не то чтобы они были воинствующими безбожниками и Лёва Гурарий всосал это босяцкое суждение с молоком Рахили Моисеевны, мамы. Нет, это было не так. Но, по убеждению партийных родителей, Бог был сам по себе, а они сами по себе.

Нетрудно догадаться, что по субботам в доме Гурариев свечек не жгли и халу не преломляли. Но еврейскую Пасху всё же справляли – с тем же примерно подъёмом, с каким праздновали день Красной армии или женский день 8-го марта. На самом донце души евреи, сами того не сознавая, желали оставаться евреями всем назло.

Каким ветром занесло в аккуратно причёсанную голову Лёвы Гурария губительную для Фишзона идею, он и сам не смог бы объяснить внятно. Вдруг его осенило, как с неба свалилось: так, мол, и так – и весь город будет об этом твердить. Да что там город – вся страна! Идею, конечно, завернут со всей решительностью – и вот тогда наступит звёздный час Тараса Фишзона: весь мир будет о нём говорить целую неделю или две.

Сама идея была безыскусна и проста, как вологодские лапти: открыты в Думе синагогу. Среди думцев, включая Фишзона, числилось четырнадцать евреев, вот для них, следуя политике совершенной открытости и демократического плюрализма, и следовало торжественно учредить в стенах парламента национальную молельню.

По замыслу Лёвы, официальный запрос должен был внести в соответствующую комиссию Фишзон, и уже назавтра новость разлете-

лась бы по СМИ. Сам Тарас чутко уловил ценность такого шага: невиданный пиар был обеспечен, причём совершенно бесплатно. Первая реакция обескураженных коллег-думцев была предсказуема:

– У нас в Думе церкви нет, а они синагогу собираются открывать! Это ж надо!

На гневную реакцию был подготовлен мотивированный ответ:

– Церкви нет? Ну и что? Места у нас тут много, можно открыть и церковь, даже нужно; время подходящее.

Фишзону судить, подходящее ли время для открытия церкви или неподходящее – уже одно это подлило бы масла в огонь, и волны скандала побежали бы по городам и весям Российской Федерации. И действительно, Дума кипела и булькала, как уха в ведёрке над рыбацким костерком на речном берегу. Ни одного равнодушного не оказалось; даже те, кто из соображений политкорректности хотели сохранить индифферентный вид, пылали опасным внутренним пламенем и либо испепеляли наглого Фишзона взглядами, либо, напротив, приветствовали в душе открытие синагоги для утверждения демократических принципов. Но таких было мало, как кот наплакал.

Не только народные избранники так чутко отреагировали на предложение Фишзона. Простой народ, это море разливанное, не остался в стороне от парламентского сотрясения – он, напротив, пришёл в большое волнение и налился гневной кровью, как будто Москва златоглавая совершенно неожиданно осталась за его крутыми плечами и выяснилось, что отступать некуда. Так повернулось и случилось, что никакие не злокозненные кавказцы и даже не заокеанские америкосы, а наглый Тарас Фишзон с его синагогой сделался главной болячкой и препятствием к счастливой жизни и светлому будущему.

Кто мог предположить, что невинный политехнологический ход Лёвы Гурария вызовет такую суматоху? Сам Лёва планировал посетить молельню лишь единожды – в торжественный час презентации, на которую предполагалось пригласить полдюжины звёзд шоу-бизнеса, кое-кого из правительства, раввинов, попов и обязательно муллу посговорчивей – для полноты картины. Но человек предполагает, а Бог располагает – с этим, в силу горестных обстоятельств, неопровержимым фактом Лёва вынужден был безоговорочно согласиться.

Неприятные сигналы начали поступать примерно за месяц до того, как Фишзона грохнули на глазах у Лёвы. Подмётное письмо, доставленное по домашнему адресу думца, было написано печатными буквами: Гитлер, дескать, вас не дожёт, но это дело поправимое... И дальше в том же духе: распоясались, мол, чёртово семя, синагоги им не хватает в нашей Думе. И подпись: «Патриот». Ругались и по телефону: «бентли» подождём, самого зарежем, как вы наших деток режете на мацу. Вот такой сакральный получался подход.

Тарас Фишзон на угрозы плевать хотел.

– Настоящий политик должен получать угрозы, – растолковывал он Лёве Гурарию. – Кому не грозят, тот вообще не политик, а пустое место. Я имею в виду у нас, а не в какой-то там Швейцарии.

– А если этот «патриот» – маньяк? – возражал Лёва. – Сумасшедший? Мало ли их тут ходит...

Но Фишзон сохранял спокойствие:

– С патриотами можно иметь дело, они хотят в политику и выступают не по делу только для пиара. Тут у них и Гитлер сойдёт, и Чингисхан. А вот кто отмороженные – так это националисты, «нацики».

Они-то, может быть, и грохнули Тараса Фишзона. Впрочем, какая теперь разница, кто именно – нацики или не нацики? Пуля, как говаривал один знающий банкир из Махачкалы, ещё ни от одной головы не отскакивала.

Оставшись без работы, Лёва Гурарий затосковал сердцем. Тоска навалилась на него со страху и не отпускала. Он боялся, что заказчики, какие они ни тупые, додумаются, что виноват во всём никакой не Фишзон, а он, Лёва Гурарий, и тогда пуля мимо него не пролетит: зашибут и его. Кто-то, казалось ему, идёт за ним следом неотступно, глядит в метро из-за развёрнутой газеты, подстерегает за углом. Входя в тёмный подъезд своего дома, он озирается: не прилаживается ли кто проскользнуть в дверь вместе с ним.

Скрыться от страха было негде, заслониться – нечем. Заказывают друг друга серьёзные люди, куда более серьёзные, чем хотелось бы. Другой на его месте уже подлетал бы к Тель-Авиву. На исторической родине тихо и мирно отсиживалось, уклоняясь от неприятностей, немало людей, чьи имена на слуху у публики; встречались среди них и знакомцы Лёвы. Тут, однако ж, надо учесть одну существенную подробность: те знакомцы и незнакомцы числились – и не на пустом месте – людьми обеспеченными, в то время как Лёва был гол как сокол. Кроме того, Национальный дом, куда он дважды приезжал с покойным Фишзоном и один раз отдохнуть на Красном море по льготной цене, ему пришёлся не по душе: не понравился, и всё тут. Серая пустыня, белая жара. Тут поживи годик-другой – и превратишься в бедуина на верблюде... Такую придирчивость, пусть и нехотя, нам придётся списать со счёта Лёвы Гурария: в конце концов, Израиль нравится далеко не всем подряд, включая сюда и евреев – иначе зачем бы они до сих пор сидели в Америке и в ус не дули? Россия, конечно, не Америка, но и тут далеко не все евреи пропадают в тюрьме, большая часть устроена в жизни и заглядывает в будущее из-под полуприкрытых век, с привычной долей надежды. Лёва относился именно к этой части своего народа, Москва была для него милой родиной и замечательным центром культуры: праздничное открытие салона-магазина «Феррари» по соседству с Кремлём вызывало в нём прилив гордости за свой город. Но и события на исторической родине волновали его куда глубже, чем, скажем, военный переворот в неведомой никому Гвинее-Бисау: еврейская сторона Лёвиной души сохраняла национальное тепло, как термос. И хотя в Израиле свирепствовал хамсин, рвались бомбы и ракеты, а арабы кричали «Аллах акбар!» и размахивали ножами в людных местах – всё это было Лёве не вовсе чужим, а скорее отдалённо двоюродным. И тот непровержимый факт, что думца Фишзона грохнули в Москве, а совсем не в Иерусалиме, не поменяла существа дела: в тот день, когда пули просвистели мимо Лёвы и поразили Тараса, последнее, что произошло в голову чудом уцелевшему от гибели, так это было поспешное, сломя голову бегство в Израиль. Бежать в Израиль? Нет, спасибо...

Но уже на завтра, после тяжкой ночи – наплывали раз за разом одни и те же видения: киллер в чёрной спортивной курточке, прямая

тые глушителем удары выстрелов, расплзающаяся по асфальту кровь из продырявленной головы Тараса Фишзона – отступление в израильские финиковые рощи не казалось Лёве совершенно невозможным. Кто это выдумал, что страх – плохой советчик? Очень даже подходящий, если человеку страшно – а Лёве Гурарию ото дня ко дню становилось всё страшней и страшней. Испуганный до смерти человек либо кидается в бой и послушно гибнет, либо прячется в лесу в компании с дикими зверями, либо, смирившись со своей участью, обречённо кивает на судьбу. Но судьба – не увешанный орденами генерал, чтобы безоговорочно подчиняться и гнуть шею. Что это – судьба? Бессмысленное нагромождение случайностей? Или выверенная система взаимных расчетов с Богом: ты – мне, я – тебе? Или золотой катышек под пальцем Главного гончара? Кто ж из нас знает... Но пули, свинцовой парой пролетевшие мимо Лёвы Гурария, – то был, несомненно, многозначительный подарок судьбы, и только круглый дурак после этого не поймёт намёка и полезет подставляться под ствол наёмного убийцы.

Наступили мутные дни, замешанные на страхе и долге: Лёва считал необходимым своё деятельное участие в организации похорон. И дело тут было не только в достойных проводках Тараса Фишзона из нашего в иной мир – хотя и это тоже, но прежде всего, в отводе прочь жутких подозрений. Исчезни Лёва назавтра после убийства думца, все, кому не лень, указали бы на него пальцем: вот преступник! Куда это он убежал? Лови его! Держи!

На похоронах, под траурную музыку, Лёва Гурарий, вертя во все стороны головой, старательно высматривал тайных согладатаев. Среди могил, невольно располагающих к унылым раздумьям, он принял, наконец, окончательное решение: теперь уже завтра, не откладывая и не медля ни часа, первым же рейсом пуститься в спасительное бегство в край отцов, где, говорят, в незапамятные времена эти родные ему люди, воинственные и суровые, гоняли своих баранов и козлов. Прощание с родиной предполагалось недолгим и необременительным: родителей, проживавших своей жизнью в городе Кисловодске, в известность не ставить – как-нибудь потом, когда всё, даст Бог, утрясётся и успокоится, для знакомых и приятелей прощальную вечеринку не устраивать. Чемоданы не брать, только дорожную сумку. Ключ от двухкомнатной квартиры в черкизовской многоэтажке, уходя, положить в карман. И как можно меньше оставлять следов – это главное!

На обратном пути с кладбища, в метро, Лёва читал газету: следствие по делу о дерзком заказном убийстве Тараса Фишзона взято под личный контроль, бригада опытных следователей, приступив к работе, уже очертила круг подозреваемых лиц, имена которых в интересах следствия покамест не подлежат огласке. Читая, Лёва Гурарий усмехался невесело: интересно, а его, Лёвы, имя тоже не подлежит у них огласке? Для тех разбойников, которые заказали ни в чём не повинного Тараса, не нужна никакая огласка: зашибут – и всё...

Поднявшись из-под земли на поверхность, Лёва обнаружил, что на воле зарядил нудный мелкий дождик. Пришлось, прикрыв голову газеткой, бежать через площадь к трамвайной остановке. Там, в ожидании, тесно и угрюмо толпился народ. В этой тесноте он и познакомился с Клавой.

Надо сказать, что по части прекрасного пола Лёва Гурарий не был одержим бесом: есть кто-нибудь под боком – хорошо, нет – будет, наверно. В свои тридцать три года Лёва уже успел однажды обзавестись семьёй – «как все»; брак оказался неудачным, коротким и без детей. А потом девушки время от времени приходили и уходили, и никто из них надолго почему-то не задерживался, несмотря на двухкомнатную квартиру в Черкизово. Иногда, случайно, Лёва Гурарий даже удивлялся самому себе: за девками не гоняется, пьёт не до отключки – что за человек?! Мысли о повторной женитьбе и продолжении рода Гурариев его не беспокоили.

А Клава стояла на остановке, и, как только показалась голова трамвая в пелене секущего дождика, публика инстинктивно подавалась вперёд, к рельсам, чтоб сподручней было хвататься за поручни и лезть в вагон, когда он подойдёт. Качнулся в тесно сбитой толпе и Лёва Гурарий и, невольно прижатый к чьей-то спине, почувствовал низом живота приятную женскую округлость. «Курдюк хороший!» – почти машинально отметил про себя Лёва и вознамерился было изогнуться и для интереса поглядеть, как выглядит обладательница такого хорошего курдюка.

Тут трамвай подкатил. Лёва не успел в толкотне осуществить своё намерение, зато взялся помогать попутчице подняться на высокую ступеньку вагона: поддержал её под локоток, а ладонью мягко упёрся ей в спину и подтолкнул вверх. Она, улыбаясь благодарно и недоумённо, повернула к Лёве Гурарию лицо – как видно, её никто ещё не пропускал вперёд и не подсаживал в трамвай.

Её звали Клавдия, Клава, а фамилия у неё была не ахти: Фефёлкина. Её гладкое лицо светилось крестьянским земляным здоровьем, выглядела она лет на двадцать с небольшим. Пока ехали, завязался разговор: погода, да трамвай редко ходит, то да сё, тарыбары – сухие амбары... Лёва звучал уверенно, солидно.

– Вы учитель? – не угадала Клава.

Лёва помедлил, а потом негромко, как потайное, сообщил:

– Я в политике.

Встречаются люди, сидящие в дерьме по самые уши или в сливовом повидле. Некоторые считают, что политика ничем не хуже повидла или дерьма, а даже лучше и там тоже можно сидеть и ни в чём себе не отказывать: человек ведь не собака, человек ко всему привыкает. Мне встречались и те, и другие, и третьи, так что я знаю.

– В политике... – несколько потерянно повторила Клава и выкатила свои вишнёвые глаза, опущённые пшеничными ресницами. – В Кремле?

– Нет, зачем же, – опроверг Лёва Гурарий. – Там, рядом... Расскажу как-нибудь, если интересно.

Клава сказала, что да, это будет очень интересно, а покамест доверчиво сообщила Лёве, что она сама с Вышнего Волочка, работает в ОТК на фабрике валяной обуви, а в Москву приехала в отпуск, сегодня вечером уезжает. Где жила в Москве? У подружки, в общежитии. А в Волочке? А в Волочке – за городом, на озере, там у неё садовый участок с избушкой, то есть не избушкой, конечно, а домиком вроде времяночки – тётка умерла, оставила в наследство.

– Там печка есть, – живописала Клава, – стенки тепло держат. И погреб.

– А что в погребке? – полюбопытствовал Лёва Гурарий.

– Я капусту засолила, огурцы с огорода, – сказала Клава с немело скрытой гордостью. – Картошка, конечно. Редька.

Вышний Волочёк, озеро, редька в погребке. Залечь на дно и не высываться. Райская жизнь, и уезжать куда не надо, ни в какую жару.

– Озеро красивое? – спросил Лёва для продолжения разговора. – Комары кусаются?

– А вот приезжайте в гости, – пригласила Клава, – сами увидите... Комаров мало, но есть.

– Тогда чего! – вдруг решил Лёва Гурарий. – Раз комаров мало – поехали! Накупим всякой вкуснятины и прямо сейчас и поедем. А?

Клава деликатно промолчала: не отнекиваться же без всякой причины.

Вышний Волочёк не был для Лёвы пустым звуком. В самом начале 70-х под этим городишком на полпути из Москвы в Ленинград, на берегу озера скрывался от тяжёлой лапы властей дальний родственник Лёвы – то ли двоюродный дядя, то ли троюродный брат, по имени Миша Фридман. То было время гонений на евреев, решивших покинуть дубовую родину социализма и отправиться на родину историческую, в края белой жары, на постоянное жительство. Разгневанные власти прибегли к испытанному методу – «держат и не пущать», и взбунтовавшиеся евреи, склонные к историческим ассоциациям, ввязались в опасную борьбу с Красным фараоном. Лёвин родственник был не последним человеком в этой отчаянной борьбе. Он проводил голодовки протеста, устраивал демонстрации в подходящем для таких целей зале московского телеграфа и, задержанный милицией, угодив в участок, распевал вместе с сотоварищами гимн Исхода: «Фараон, отпусти мой народ!». В смиренной семье Гурариев о нём говорили шёпотом; он был антисоветский бунтарь и герой.

Накануне визита в Москву американского президента Ричарда Никсона дюжина беспокойных еврейских заводил, вне зависимости от возраста, получили повестки из военкомата: им предписывалось явиться на призывной пункт для прохождения службы в армии. Разумеется, победоносная советская армия могла бы смело обойтись и без этой дюжины – но фараоновы слуги из комитета госбезопасности подозревали, и не без оснований, что эти бедовые евреи в ходе визита высокого американского гостя намерены митинговать, строить козни и мешать американо-советской дружбе и торжеству мира во всём мире. А так, в военной форме, можно по всем правилам сослать их туда, куда Макар телят не гонял – на Колыму или же на Дальний Восток; пускай чистят там солдатские нужники. И никаких тебе митингов и поганых песен.

Но отважная дюжина и не думала соответствовать замыслу верховного командования и подчиняться приказу. Четверо из призванных демонстративно сожгли на Красной площади повестки, были арестованы за преднамеренную порчу государственных документов, осуждены и посажены в тюрьму на семь лет. Один был выловлен около своего дома, забрит и отправлен на два года в заполярный гарнизон, в Тикси, на берег Ледовитого океана. Семь, посоветовавшись, решили податься в нети – скрыться из Москвы

и переждать американо-советское сближение, вплоть до отъезда Никсона, где-нибудь в укромном месте.

Миша Фридман, в чём был, разумно не заходя домой, отправился на вокзал и сел в пригородную электричку. Меняя поезда, автобусы и попутные грузовики, на исходе следующего дня он прибыл в Вышний Волочёк. Он никуда не спешил – куда ему было спешить? Он хотел незаметно, не оставляя следов, ускользнуть из Москвы, где его почти наверняка засекали бы, поймали и отправили в армию, а потом вlepили бы знание военных секретов, несовместимое с выездом за границу, в Израиль. Почему он решил остановиться в Вышнем Волочке, Миша и сам не сумел бы объяснить: может, название ему понравилось. Рядом, рукой подать, коптит небо старинный городок Торжок, там тоже мухи со скуки дохли прямо в полёте и падали на головы редких прохожих – но Мишу туда почему-то не тянуло. Еврейский борец укрывается от Фараона в Вышнем Волочке – вот это красиво! Этот Волочёк – самое подходящее место для укрытия: тут, если на центральном перекрёстке приземлится летающее блюдце и из него выйдет инопланетянин, никто не станет волноваться и нервничать; как прилетит иноземец, так и улетит. И всё же Миша Фридман не стал дожидаться космического гостя, а отъехал от города километров на двадцать и в совершеннейшей уже глуши за две бутылки водки устроился на нелегальное проживание в профсоюзный дом отдыха им. Клары Цеткин. Простонародные члены профсоюза пили там горькую круглосуточно, жили по восемь человек в палате и ходили на танцплощадку. Миша тоже ходил, чтоб получше слиться с толпой... Через две недели он вернулся в Москву, прямо с вокзала позвонил в военкомат и сказал, что болел, а теперь выздоровел. Военком не проявил интереса к состоянию его здоровья и справку о болезни не спросил. Никсон уехал, защиту от евреев сняли. Можно было выходить из подполья.

Эта история о нежелательном путешествии дальнего родственника в Вышний Волочёк вошла в анналы семьи Гурариев и сохранилась там как легенда. Старшее поколение не без гордости связывало её с еврейской борьбой, а Лёва видел в мятежном Мише бесстрашного искателя приключений наподобие пирата на деревянной культе.

Очувтившись в Вышнем Волочке, Лёва Гурарий, озираясь по сторонам, ощутил волнение души: когда-то здесь скрывался Миша Фридман, а теперь пришло его, Лёвино, время.

– Хорошо у нас тут, правда? – искательно спросила Клава Фёфёлкина и опустила тяжёлый дорожный баул на привокзальную землю – дыхание перевести.

– Очень, – глядя на ряды почерневших кривых изб за чахлыми палисадниками, согласился Лёва.

В автобусе тряслись ещё целый час, пока приехали. Затянувшаяся почти на сутки совместная поездка от Москвы до садового участка на берегу озера самым непонятным, хотя, с другой стороны, совершенно естественным образом сблизила Лёву Гурария с Клавой Фёфёлкиной. До полусмерти перепуганного Лёву и простодыру Клаву с её одноразовыми кавалерами без оглядки потянуло друг к другу; оба хотели опыта, до этих пор неопробованного. А вдруг всё получится хорошо, может же такое случиться? Вряд ли – ну а вдруг?

Домик на озёрном берегу был сколочен и сбит из подручных стройматериалов: побывавших в употреблении досок, разнокалиберных каких-то жердей, старых железнодорожных шпал, ещё не забывших тяжкий ход паровозов. То была бедная времянка, открытая для тихой счастливой жизни.

И была сваренная «в мундирах» картошка из погреба, и политая постным маслицем квашеная капуста в эмалированной миске. И был зельц «Сосновый бор» и килька «Таллиннская пряная». И бутылка «Финляндии», привезённая из столицы, серебряно высилась среди яств на дощатом столе.

И был вечер, и была ночь.

Озеро лежало в ногах дачного домика. С рассветом, к пяти, сонные птицы начинали свои переговоры, а поверхность озера под пробным порывом ветра приходила в зыбкое движение: мелкие волны бежали строем в затылок друг другу и, добежав до берега, ложились в песок. Другой берег, неблизкий, но хорошо различимый, густо зарос сосняком; деревья подступали к самой воде, игольчатые круглые кроны сплетались в чёрный навес. Можно было ожидать появления из чащобы Ивана Сусанина в распахнутом на груди нагольном тулупе или удалого разбойничка в красном зипуне и шапке набекрень.

Но никто не выходил из дикого леса, и это немного успокаивало Лёву Гурария, не без опаски всматривавшегося в русскую природу, окружившую его здесь со всех сторон. Озеро, лес, времянка со счастливой начинкой. Клава Фёфёлкина ещё спала на своём дощатом топчане, а Лёва, поднявшись первым, вышел на волю и, глядя через озеро на лес, вспоминал добрую ночь. Ему не хотелось думать о Москве, да и лень было; жирок лени опушал события последних дней. Новый день народился сейчас на его глазах, день другого времени: не нужно было никуда ехать на такси по чужим делам, не нужно было озираться по сторонам и прятать лицо за газетой, как будто она могла защитить от пули киллера. Всё это осталось в старом времени, в Москве; а здесь нет ни такси, ни газеты. Озеро здесь есть, лес и времяночка, тёмно-пёстрая, как перепелиное яичко. И славная простецкая Клава с яблочным дыханием, долготерпеливая и почему-то благодарная.

Опираясь о шаткий и волглый после пролетевшего дождика поручень, Лёва Гурарий стоял на хлипком крыльце, как на ходовом мостике яхты, без цели скользящей по озёрной глади. Время утратило для него привычные очертания, оно больше не подразделялось на дни, часы и минуты. Он стоял на мостике, яхта скользила во времени. Время состояло из света и тьмы, различимых на взгляд. Лёва Гурарий вдруг ощутил мимолётный порыв снять часы с руки и забросить их в озеро, но потом он отогнал это странное наваждение: ещё чего не хватало!

Заревая прохлады была упоительна, мир пах свежестырированным бельём. Покатались на яхте – и хватит! Пора возвращаться к Клаве.

Жизнь с Клавой во времянке потекла необременительно и легко: день да ночь – сутки прочь. Клава каждое утро уезжала на свою фабрику валенок, работала там в ОТК до шести, а потом возвращалась на озеро. Она несла в хозяйственной сумке белый батон, горо-

ховое пюре растворимое и большую бутылку кока-колы; глобализация, непонятно зачем, накрыла краешком и Вышний Волочёк.

Лёве надоело ежедневно томиться до вечера в ожидании Клавы Фефёлкиной. К философским размышлениям, располагающим, говорят, к одиночеству, он не был склонен, не тянуло его и удариться в запой, хотя мысли об этом иногда посещали его в тесноте времянки. Недели через две он устроился помощником истопника в поселковую баню, на малый, но твёрдый оклад. Служебное его занятие состояло в поддержании огня в печи, в кубовой. Поддержание огня – благородное дело, особенно если взглянуть со стороны. Начальник и наставник Лёвы Гурария – главный, выходит дело, истопник – никак своему помощнику не мешал и в его огненную работу не вмешивался. Истопник, если изредка, как месяц из тумана, и появлялся в кубовой, то сразу валился на стоявшую под окном канадейку и принимался храпеть и стонать с такой неодолимой мощью, что ровный гул пламени в печи становился совершенно неслышим. Об увольнении со службы или хотя бы о понижении в должности тут не могло быть и речи: алкоголик приходился родным дядею управляющему районным банно-прачечным объединением, поэтому он мог пить водку беспрепятственно и безостановочно, ни в ком не вызывая порицания. Зависть он вызывал во многих – что правда, то правда.

Так прошло месяца полтора, а то и два. Лёва поддерживал огонь, Клава проверяла валяные сапоги. Конфликтов между ними не случилось, потому что конфликты и ссоры происходят от слов, а Клава со своим Лёвой Гурарием никогда первой не заговаривала, а только отвечала на его вопросы, если он их задавал. Лёва ценил такое тактичное поведение своей подруги; он был счастлив на берегу озера после трудового дня, проведённого в кубовой под артиллерийский храп истопника на его канадейке.

Холода посверкивали уже не за дальними горами. Лето растаяло, как леденец во рту, и ушло. Озеро по утрам приобретало свинцовый оттенок, и со дня на день можно было ждать изморози на привядших и пожелтевших травинках земли. Подмороженный рассвет холодно предупреждал всякую живую тварь о близкой зиме, и только пьяный или безумный человек решился бы бунтовать против заведённого круговорота природы.

В одно из таких утр Лёва узнал, что Клава Фефёлкина беременна.

Эта новость вошла в сердце Лёвы Гурария наподобие пули: такого развития событий во времянке он почему-то не предвидел и не ожидал. Грядущее отцовство не укладывалось в его сознании. Всё было кончено. Картина тихой милой жизни, сложившаяся здесь, на берегу озера, рассыпалась в один миг и не подлежала бескровному восстановлению. Только одно оставалось: самому исчезнуть без следа. Спастись.

Закрывая за собой дверь времянки, он не оставил Клаве ни знака, ни записки. Клава такая хорошая, она сама всё поймёт.

Назавтра, первым же рейсом, Лёва Гурарий улетел из Москвы в Тель-Авив.

Над Тель-Авивом висела белая жара.

Люблю белую жару над Тель-Авивом.

июнь 2012